

ГЕНДЕРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

*Н.Л. ПУШКАРЁВА***Устная история
и гендерная история:
сближение и перспективы
развития**

Статья рассказывает о пересечениях устной истории и женской/гендерной истории как автономных исторических дисциплин.

Ключевые слова: устная история, женская история, гендер, история повседневности, теория и методология исторического знания.

This article is about the intersections of oral and women/gender history as autonomic historical disciplines.

Keywords: oral history, women history, gender, history of everyday live, theory and methodology of historical knowledge.

Рождение междисциплинарной практики, позволяющей извлекать информацию из устных источников для восполнения наших знаний о прошлом, в зарубежной историографии связано с именем американского профессора А. Невинса. В 1938 г. он призвал своих коллег создать организацию, “которая систематически собирала бы и записывала устные рассказы, а также мемуары видных американцев об их участии в общественной, политической, экономической и культурной жизни страны” (цит. по [Бэрг, 1976, с. 213]). Через 10 лет, в 1948 г., по его инициативе в Колумбийском университете был создан “Кабинет устной истории” для записи мемуаров людей, сыгравших значительную роль в жизни Америки.

Впрочем, идея обретения знаний о прошлом через фиксацию устных рассказов и тогда была уже не нова. Ею пользовались и те, кто создавали свои “истории” полтора-два века (да и больше) тому назад. В нашей стране такой путь получения исторической информации более привычен для этнографов, нежели для историков. Достаточно вспомнить о “сводах данных этнографических материалов” архива князя В. Тенишева: информаторы созданного князем в 1890-х гг. Этнографического бюро опрашивали десятки людей в разных губерниях России и затем скрупулезно систематизировали поступившие записи “об образе жизни русского народа”. Программа бюро включала около 500 вопросов и опиралась на опыт сбора подобных материалов в XVIII–XIX вв. (Российской Императорской Академией наук, Вольным экономическим обществом, Русским Императорским Географическим обществом и др.). Полученные из разных

Пушкарёва Наталья Львовна – доктор исторических наук, профессор, заведующая сектором гендерных исследований Института этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН.

губерний ответы хранились в С.-Петербурге и по сей день доступны в Рукописном отделе Российского этнографического музея.

Когда письменных источников не хватало, историки поначалу не отказывались от записей устных рассказов. Уже в первые годы Советской власти, сразу после революции и Гражданской войны, начался сбор воспоминаний их участников, а с 1931 г. необходимый импульс получил и проект воссоздания “Истории фабрик и заводов” – и тоже (в том числе) на основании записей и устных воспоминаний, через которые предполагалось воспитать в рабочих осознание чувства сопричастности великим революционным свершениям, а одновременно – и верности своему предприятию [Зак, 1965, с. 590–591].

Однако во всей мировой историографии (и российская оказалась, к сожалению, не исключением) признание устной истории *равноправным и равноценным методом получения знаний о прошлом* и, по сути, самостоятельным исследовательским направлением¹ произошло только к последней четверти XX в., если не к последнему двадцатилетию. Этот вывод можно сделать, если жестко развести понятия случайных записей очевидцев, а также слухов и “практики научно организованной устной информации участников или очевидцев событий, *зафиксированной специалистами*” (курсив мой. – Н.П.), которую одну только и можно, строго говоря, назвать устной историей [Шмидт, 1991, с. 16].

Обсуждение итогов развития этого направления, а также размышления о причинах долгой непопулярности устной истории в нашей историографии содержатся во множестве публикаций, в том числе в центральных научных журналах, сборниках; в них же обозначены и перспективы развития – как их видят авторы (см., например, [Урсу, 1989; Орлов, 2006]). Реже задумываются над тем, почему институционализация устной истории как самостоятельного направления и как приема работы с эмпирическим материалом идет в наших науках столь долго и с таким трудом. Назову здесь лишь некоторые из упреков, которые обычно предъявляют “устным историкам”: притязания на равноправность (в сравнении с письменными, документальными свидетельствами), уравнивание записей, сделанных специалистами, со слухами (“передачей эмоционально значимых для аудитории сведений по каналам межличностной коммуникации” [Орлов, 2006, с. 145], центрированность более на эмоциональной окраске события (нежели на нем самом), на значении факта или явления, а не на факте или явлении как таковом: отсюда – “необъективность”, сиречь пристрастность². Отсутствие единого предмета исследования, наличие множественности точек зрения – все это составляющие “устной истории”, которые и делают ее интересной, но они в то же время препятствуют принятию ее в “приличное общество” традиционных исторических направлений и устоявшихся тем (см. [Пассерини, 2004]).

Что касается “гендерной истории”, гендерного аспекта реконструкции прошлого и гендерного подхода в работе с источниками, то (как ни парадоксально) это направление также начало складываться еще до Второй мировой войны под влиянием рождавшейся тогда “истории женщин”, обрело понятийный аппарат в 1970-х гг., а оформилось в признанное научное направление на Западе примерно 20–30 лет назад. Иными словами, оно прошло ровно те же этапы и имеет примерно ту же (в хронологическом смысле) историю. Проиллюстрирую эти положения конкретными фактами.

Первый призыв написать “историю женщин”, выделить во всеобщей истории как отдельные составляющие “истории полов” прозвучал в 1933 г. на VII Международном

¹ Чтобы точнее определить место *устной истории* в системе гуманитарного знания, подчеркну: она является методом, породившим целое направление в исторических науках, но никак не дисциплину. *Устная история* не может быть уравнена с другими вспомогательными историческими дисциплинами (скажем, эпиграфикой, нумизматикой, источниковедением, дипломатикой), поскольку не имеет своего – отличного от обычной истории – предмета изучения. Именно поэтому биографика – дисциплина в гуманитарном знании (пусть не признанная всеми), а просопографический метод – только метод, хоть и основанный на биографиях и тесно с биографикой связанный (*просопо* – личность, *графо* – пишу).

² Тема объективности – “священная корова” традиционного историописания: прикосновение к ней, отрицание возможности полной объективности, допустимость необъективности в научном сочинении – равно почти смерти его автора, остракизму, исключению.

конгрессе историков. Именно там был заслушан доклад известной исследовательницы Л. Харевичовой “Возможно ли написать специальную историю женщины?”. В прениях по докладу говорилось о необходимости создания работ по истории социального положения женщин в разных странах в различные эпохи. Харевичова готовила к изданию монографию о женщине польского Средневековья, но ее выходу в свет помешала война и смерть исследовательницы в фашистском застенке [Пушкарева, 1989]. Должно было пройти несколько десятилетий, чтобы термин “гендер”, введенный американскими учеными (Дж. Мани и Р. Столлером³) в 1950-е гг., наконец-то обрел права гражданства в гуманитарном знании и прорвался на страницы исторических трудов. На волне молодежной и сексуальной революций конца 1960-х, в условиях утверждения “женской темы в истории” и благодаря рождению “женских исследований” (в истории в том числе) появился призыв переписать историю с учетом вызовов времени. Причем не только дополнить традиционную историю женскими именами, но и услышать женские голоса, заметить отличия их системы ценностей, признать существование женского социального опыта, в конечном счете, учесть гендерный фактор.

Таким образом, хотя первые работы вышли еще в 1930-е гг., как направление изучения прошлого гендерный подход в исторических науках утвердился в мировой науке не ранее середины 1970-х гг., когда оформилось направление женских и гендерных исследований (W&GS) в гуманитаристике и, на новой волне женского движения на Западе, началось сближение теоретического феминизма, феминистской эпистемологии и истории [Пушкарева, 2008]. Аналогична картина и с устной историей: первые работы вышли до войны, а как направление она оформилась (и оформляется) даже после истории женской и гендерной.

В российской науке и про устную историю как равноправный с иными способ сбора данных и метод реконструкции прошлого, и про женскую/гендерную историю как самостоятельные направления изучения прошлого исследователи знали давно. Кто-то бывал на зарубежных конференциях и конгрессах, кто-то в меру сил и возможностей продвигал свои исследования в духе этих прогрессивных начинаний. Но реальная институционализация данных направлений началась только после преодоления предписываемого всем научного единомыслия, то есть с конца 1980-х гг. Едва марксизм негласно отступил от своих притязаний на главенствующее положение и “из центра” перестали диктовать, какими источниками можно и должно пользоваться, а какие – и источниками-то считаться не могут (устные рассказы, слухи, сплетни), началось активное обсуждение новых способов получения исторического знания.

Биографические источники предстали неким новым измерением социального опыта, которым ранее в нашей историографии пренебрегали. Внимание к биографике совпало (а в известной степени сопровождалось) с бурными спорами в отечественной гуманитаристике о роли и месте “качественной исследовательской парадигмы” в социологии. Тогда же феминистские теоретики были записаны в один лагерь с этнометодологами, марксистами нового поколения (Л. Альтюссером), а также всеми “антинатуралистами” и методологическими релятивистами [Батыгин, Девятко, 1994; Козлова, 2000]. Само по себе это было в каком-то смысле справедливо, ведь все они искали пути к новому видению общества.

Ясно одно: всего 15–20 лет назад под подозрением была не только “устная история” как продуцирующая непроверенные факты, а потому далекая от репрезентативности и пресловутой научной объективности, но и кажущаяся поначалу незатейливой и иллюстративной история женщин и их взаимоотношений с мужчинами. “Конец невинности” для женской истории наступил, когда она теснейшим образом соприкосну-

³ В 1955 г. выдающийся сексолог Мани, которому при изучении гермафродитизма и транссексуализма потребовалось разграничить общеполовые свойства от сексуально-генитальных, сексуально-эротических и сексуально-прокреативных качеств, ввел понятие “гендер”. С предложением активнее пользоваться этой дефиницией его коллега Столлер выступил в 1963 г. на конгрессе психоаналитиков в Стокгольме, сделав доклад о понятии социополового (гендерного) самоосознания. С этого времени концепция разделения биологического и культурного в отношении пола быстро завоевала подобающее ей место в гуманитарном знании [Money, 1955; Stoller, 1968; McIntosh, 1991].

лась с теоретическим феминизмом, и именно он дал ей (и гендерной истории) новый импульс, отход от описательности и глубокую аналитичность.

Феминистская критика социальной науки заставила увидеть в отношениях мужчин и женщин на протяжении веков властные отношения, то есть отношения господства и подчинения. Ею было введено и часто используемое ныне понятие гендерного порядка. Вслед за Р. Коннел⁴ гендерным порядком именуется социальный порядок распределения благ и престижа по признаку пола [Connell, 1987]. Неравенство этого распределения обнаружилось во всех сферах жизни общества, в том числе культурной и научной, и вообще в самом получении и распределении знания. Гендерной истории до поры до времени не было и потому, что пол действующих лиц прошлого просто не замечали, и потому, что женская история считалась тождественной истории мужской или всеобщей. Но главное – веками и тысячелетиями доступ к познавательным ресурсам представлялся жестко структурированным и организованным в интересах сохранения мужского господства. Именно мужчины определяли, *что* важно и *что* существенно, а в науке, во всех исторических интерпретациях фактов и явлений – *что* именно требует изучения и является приоритетным. Женский социальный опыт казался не важным, женское видение мира и женская система ценностей считались инвариантами общечеловеческих (мужских), а потому специальное изучение этих вопросов долгое время представлялось не обязательным.

Теоретический феминизм XX в. поставил под сомнение возможность и далее не замечать женщин и их социальную роль. Феминистски ориентированные историки подвергли ревизии сложившиеся – а это значит “мужские” – интерпретации прошлого и настоящего, раскритиковали преимущественное право лидеров традиционной науки (“патриархов”) означать, классифицировать, интерпретировать эмпирические данные, указывать на одни из них как важные и репрезентативные, а на другие – как на ничего не значащие и второстепенные. И в этом смысле такие историки оказались очень близки сторонникам институционализации устной истории и, фигурально выражаясь, протянули им руку дружбы. Вместе с устной историей женская история (а также и микроистория, и история повседневности обычных, неродовитых, неизвестных людей) стала попыткой вернуть индивидам их способ понимания пережитого. А он, в свою очередь, оказался отличным от общепринятого, от *общего*, потребовал соотнесения проявлений индивидуального с нормами и смыслами *общего* (у феминистов, прежде всего, самого неартикулированного, более скрытого – женского) восприятия.

Убежденность феминистских теоретиков в существенности не столько количественных, сколько качественных характеристик социальных явлений⁵, дополненная гуманистическим идеалом (право каждой социальной группы на свое мировидение и, следовательно, свою историю) привела их в лагерь “новой социальной истории”. В этом же лагере в настоящий момент можно обнаружить сторонников микроистории, исторической биографии, имагологов (изучающих образы, в том числе образы и представления народов друг о друге), “повседневноведов”, которые желают “видеть историю в зеркале быта” [Лотман, 1994, с. 10], а также сторонников направления устной истории. Новый подход к источнику и новые темы, рожденные эпохой постмодерна, выразились и в том, что явления (как и факты) стали изучаться наиболее подходящими методами, и исследователи подчас перестали задумываться над тем, какой дисциплине эти методы принадлежат. Это свидетельствовало о подлинной междисциплинарности, отрицались барьеры, созданные каждой наукой, отвергались прежние позитивистские схемы. Новые методы и подходы впервые заставили исследователей задуматься о возможности асинхронии (неодновременности) личных и общественных переживаний.

⁴ Р.В. Коннел – австралийский социолог (род. 1944 г.), сменивший пол после того, как овдовел. Работы Коннел по социологии образования, гендерным исследованиям и политологии широко цитируются и используются социологами всего мира.

⁵ В социологии это сторонники “понимающей социологии”, в философии – приверженцы классической германской феноменологии с ее понятием *Verstehen*, в науках о прошлом – те, кто работают в области биографической истории и микроистории.

И устная история, и гендерный подход к зафиксированным в ее рамках текстам стали новыми *инструментами*, новыми орудиями интерпретации прошлого, которое уже давно не выглядит “клубком”, разматывающимся в общую, единую для всех бесконечную нить. Современные историки воспринимают прошлое не как “клубок”, а как “лавину саморазвивающегося живого вещества”, стараясь принять во внимание альтернативы, перекрестки, моменты выбора пути, когда нельзя предсказать дальнейшее развитие [Лотман, 1993, с. 466]. Такой подход невозможен без учета мнений отдельных, подчас незначимых для прежней истории людей, без устной истории, которая рождает и новую просопографику. С помощью устной истории восстанавливаются истории важных социальных событий, трудно реконструируемые по письменным источникам или искаженно (неполно) зафиксированные ими [Linde, 1993]. Скажем, это история голода в СССР как в 1920-е, так и в 1930-е гг., репрессии, некоторые типы миграций и вынужденных перемещений, это и “другая история известного” – периодов индустриализации, коллективизации, ленинградской блокады, история сталинизма, нацизма. Незаменимой устная история оказывается и в реконструкции совсем недавних страниц нашего прошлого, поскольку живы ее носители [Labow, Walecky, 1997]. “Устная история армейской службы в постсоветской России” – история экзистенциальных переживаний современных молодых россиян на фоне “эпохи перемен”. Мало и редко фиксируемое современными культурологами прошлое и настоящее российской сексуальной культуры в XX в. – не “что-то такое, больше относящееся к медицине”, а история социокультурного феномена и его трансформаций в новейшее время, которая была бы невозможна без устных свидетельств [Women’s... 1991; Темкина, 1999].

Собственно, в неоднозначности оценок прошлого мы видим проявления, которые дарят исследователю как *те*, кто собирают живые свидетельства памяти отдельных индивидов (которые могут очень разниться с общей, усредненной оценкой), так и *ме*, кто заставляют услышать голоса женщин (которые, опять-таки, могут не совпадать с голосами тех, кто формируют наше знание). В такой неоднозначности – главная значимость этих двух направлений для нашей науки. *Неофициальность памяти*, возможная непризнанность оценок – то, что роднит устную историю и историю, написанную с применением методов гендерной экспертизы фактов и явлений.

В условиях явной политизации, идеологизации науки, типичных для XX в. и современности, устная история, включая устную женскую историю, – возможность сохранить без искажений слово правды и справедливости, возможность донесения до читателя голосов “молчаливого большинства” [Бойм, 2002]. Приведу один из примеров, связанных с историей Великой Отечественной войны и участием в ней женщин. Для начала отмечу, что (несмотря на кажущуюся изученность темы) многие цифры остаются по сей день различающимися при разных способах подсчета, а часть – и вовсе закрытыми. Примерно известно, что в войне участвовали около 800 тыс. женщин, что женщины же составляли около 8% личного состава, в партизанском движении – 9,8%, то есть около 28 000 человек [Fürst, 2000]. Возникает вопрос: какова была мотивация женского добровольчества, совпадала ли она с мужской?

Если судить по официальным документам и СМИ, то мотивом был патриотический порыв, сконструированный еще в предвоенные годы, отчасти – стремление отомстить за погибших родственников или мужа, последовать примеру родителей и реализовать семейный этический кодекс. А анализ устных женских рассказов о войне позволяет выявить “трудно классифицируемое разнообразие” [Никонова, 2005, с. 5]. Женщины вспоминают сейчас, что ими двигало чувство самосохранения, стремление выжить, сердечная привязанность к командиру и вспыхнувшее вопреки войне чувство [Алексиевич, 1985]. Это совсем иная история, иная картина войны...

Общим для устной истории и ее гендерного варианта (записи рассказов гендерно-сегрегированных групп, мужчин отдельно от женщин для сравнения их жизненных опытов и впечатлений) является и ориентация *не на экспертов* в какой-либо среде (а так было всегда принято) [Квале, 2003], а на рядовых, обычных людей как информантов. Они “интересней”, выбирают не только культурно маркированные ситуации и процессы, готовы рассказать о любом фрагменте повседневности. При этом привер-

женцы устной и гендерной истории оставляют в стороне и требования статистики, и идею массовости. И это тоже роднит два новых направления и два новых метода.

Чем приверженец устной истории, “повседневновед”, гендеролог отличен от этнографа? Отношением к жизненному пути информанта. Этнограф собирает только то, что касается его темы (этнология семьи, брака, особенности быта, нравов, фольклора, материальной культуры); приверженец же устной истории отличается желанием узнать, как конкретные события жизни страны и общества прокатились по жизненному пути данного человека – носителя не просто “ФИО, возраста, социального происхождения”, но семейной истории, вписанной в общий контекст страны. И первыми такое научное любопытство проявили именно гендерологи, собиравшие устные истории женщин [Cosslett, Lury, Summerfield, 2000].

Когда употребляется понятие гендерного аспекта устной истории или гендерной экспертизы прозвучавших и записанных текстов, то предполагается, что аналитик будет не просто фиксировать принадлежность того или иного текста мужчине или женщине, но сможет это знание использовать для получения более разносторонней, углубленной информации. Из сказанного вытекает *желание понять, умение сопереживать* изучаемому объекту. Эти желания и умения связывают феминистских теоретиков со сторонниками этнографического метода “включенного наблюдения”, биографического метода, плотного (или насыщенного описания)⁶ и “гуманной социологии” [Hammersley, Atkinson, 1983; Plumme, 1983].

Шведская исследовательница М. Хиден, обосновывая различия мужского и женского подходов к самому сбору информации, обратила внимание и на его последствия: мужчины акцентировали внимание на цели (“почему/зачем он так делал”), в то время как женщины подчеркивали обстоятельства (“как он это делал”) и последствия акта – физические и эмоциональные. В результате выявлялись совершенно разные пласты в рассказах об одном и том же. Таким образом, микроистория биографических рассказов возвращает индивидам – мужчинам и женщинам – их собственный способ понимания пережитого. А он отличен не только от общего, коллективного, но и от специфически мужского/женского восприятия [Ярская-Смирнова, 1997, с. 57].

Специфика качественных методов (или качественного подхода) в общей социологии состоит в том, что его сторонники постоянно имеют дело с идеографическим – то есть с теми символами и знаками, которые обозначают индивидуальную неповторимость данной жизненной истории, индивидуальный рассказ о себе, индивидуальный текст, индивидуальные совокупности практик. Сторонники женской и гендерной истории идут дальше. В их исследованиях идеографического также присутствует акцент на теме неповторимости, индивидуальности, но он – иной, поскольку преодолевает “надменность” и отстраненность обычного социологического описания отдельных судеб. Ведь обычный исследователь индивидуального может себе позволить наблюдать за сценой социального театра как бы со стороны, из “царской ложи”, с исторически безопасного расстояния. Он считает допустимым писать о жизни своих соотечественников как о “чужих”, именуя человека-современника *homo soveticus*, а жизнь, его окружавшую, называть “советским зверинцем” [Щербаков, 2005]. Будто он сам не из этой “общей истории”, будто события страны вокруг него не встроены в его собственную жизнь, тело и язык, будто он – не наследник свершившегося, и у него самого как бы нет биографии. Он может в этом случае еще и хвастаться своей объективностью, тем, что он – всезнающий, лишенный чувств эксперт, холодным взором окидывающий предмет своего изучения.

Исследователь (чаще – исследовательница), разделяющий феминистскую способность к пониманию и вчувствованию, такого не допустит [Devault, 1990, с. 116]. Исследователь (-ница) биографий и восстанавливающий историю с феминистских

⁶ По мысли автора метода “плотного описания” К. Гирца, оно возможно только в свете определенной теории или группы теорий, позволяющих оценить ситуацию в целом. Только тогда собираемые “плотные описания” перестают быть “записками из бутылок”, отрывочными фиксациями случайных фактов, только тогда собранное предстает не серией примеров, а разносторонним описанием факта, явления, ситуации [Geertz, 1973, с. 26].

позиций прежде всего историоризирует самого(саму) себя – обозначая время и место в пространстве и на шкале времени, в котором совершается исследование, *высказываясь* в качестве участника (-цы) и не пытаясь вещать с позиций “абсолютно объективного наблюдателя”, демиурга Великой науки, Разума или Истории. Феминистский исследователь (-ница) выявляет умолчания, биографические моменты, где возникает повторная травма (когда о чем-то спрашивают, а рассказать трудно, почти невозможно). И далее: Он/Она переживают и сопереживают рассказчику (-це). Тем самым они категорически отличны от обычного аналитика, а феминистский метод потому и отличен от тех, что излагаются в большинстве учебников. Все сообщенное информантами *соотносится* феминистским исследователем с *личной биографией*; обращение же к собственному жизненному пути доступно каждому – и тому, кто наблюдает социум извне, и – в особенности – тому, кто в нем живет. Этот методический прием – лучший способ избежать суждения, диктуемого привилегированной позицией (мол, “я лучше тех, кого описываю, знаю их жизни”). Ученый старшего поколения, пишущий с таких позиций, уже поостережется считать себя, скажем, принадлежностью “совка” или “советского зверинца”: ведь в этом “зверинце” была проведена большая часть его единственной и неповторимой жизни [Козлова, 2000].

Исследовательницы, разделяющие феминистские подходы понимающей (гуманной) социальной антропологии, призывают постоянно учитывать собственную включенность в процесс – в ту самую историю, которую рассказывают в своих жизненных историях информанты. Только тогда обнаружится то, чего нет у исследователя, желающего писать и видеть процессы как бы со стороны, извне: пишущий о своем, о своей включенности в культуру и историю сам обладает “памятью тела”. Каждый из нас обладает памятью своего тела. В этой памяти – и запахах, и визуальных намеках, и речевые аллюзии, и личные душевные переживания, оказавшиеся неожиданно похожими на чьи-то еще в этом давно свершившемся прошлом. Именно потому, что каждый обладает этой памятью тела, воспроизведение ее приносит *радость обретения действительности* (хранившееся в дальних уголках памяти неожиданно воскрешается совпадениями, реализуется и всплывает на поверхность, даря исследователю радость). А ведь это – та дополнительная информация, которую годами избегали сообщать историки, пишущие на темы, глубоко их волновавшие.

Феминистски ориентированные исследователи, стремящиеся побудить женщин говорить о себе (ведь женщины обрели право голоса много позже, чем мужчины: в России – не ранее XVIII в., до этого женские эгодокументы почти не известны), рассказывать больше, проговаривать пережитое, по сути превращают устную историю в воспитательную и даже манипуляторскую практику. Но не стоит сбрасывать со счета в этом контексте то, что, говоря о себе, рассказывая женщинам о своих проблемах, женщины учатся оказывать поддержку друг другу, “жить решительно” [Рейнхарц, 2001, с. 41]. Женская устная история – огромный ресурс пробуждения женского социального самосознания.

Не забывая, что сверхзадачей любого социального исследования является изучение сети социальных связей (а не просто суммы казусов, отдельных судеб), гендерологии, работающие с материалами устных жизненных историй (прежде всего автобиографий – записанных или рассказанных устно), не оставляя надежды выявить *специфику повторяющихся форм человеческих взаимодействий через понимание присущего им субъективного смысла*. Ведь социальные отношения, складывающиеся в разных областях (например, в научном сообществе), не зависят от сознания и воли отдельного человека (хотя иногда он лишь тщится повлиять на них, особенно если занимает властные позиции). Можно сказать и так: человеческие взаимодействия всегда, во все эпохи оказывали структурное принуждение. Поэтому изучение женских эгодокументов, а через них – женских жизненных сценариев, предпринимается, чтобы увидеть, как за кажущимися случайностями жизни, очень индивидуальными жизненными путями и предстоящими добровольными решениями скрывается социально-структурирующее начало. Спектр альтернатив не бесконечен, и не случайно поэтому очень часто необходимость выдается за добродетель. Не стоит забывать и того, что современный

исследователь изучает прошлое России, исходя из “участвующего” или “включенного наблюдения” ее постсоветского настоящего.

В чем сложность использования устных рассказов, какой бы суперсовременный понятийный аппарат мы ни вовлекали в свое дело (я имею в виду понятия *дискурс*, *рутина*, *обиход*, *повседневные практики*, *интерсубъективные коммуникации*, *интенции*, *эмпатия*, *герменевтика* и т.д.)? Сложность – в балансе описательности и проблематизации. Как формализовывать полученную информацию? Как систематизировать и проблематизировать ее? Зачем историку эта сумма казусов и уникальных жизней? Как их вписать в макроконтекст? На каком этапе остановиться и прекратить сбор записей, считая полученный материал необходимым и достаточным для достоверных выводов?

Ответ – у этнографов. У них есть простое правило. Любой элемент повседневной культуры достоин исследовательского внимания, если он встречается неоднократно (не менее трех раз) в условиях полевых наблюдений или у разных информантов. Этнографы пришли к нему чисто опытным путем [Итс, 1991]. Социологи в аналогичных ситуациях применяют метод триангуляции – используют несколько исследовательских методов как способов получения более достоверных эмпирических данных по сравнению с результатами, получаемыми при применении какого-либо одного метода в отдельности [Триангуляция]. Если элемент повседневной культуры выявлен при анализе разных источников и при перепроверке разными методами (устной истории и истории традиционной, основанной на письменных свидетельствах), вывод о распространенности этого элемента верен.

Значимость новых – обоснованных гендерной теорией – подходов в том, что они утверждают неполноту, частичность любой точки зрения, настаивают на необходимости полифонии репрезентаций, где нарративный анализ с позиций эмпатии (сопереживания) – не панацея, а всего лишь один из подходов, только полезное дополнение к классическому научному знанию. Мелкое столь же важно, но оно требует интерпретации в не меньшей мере, чем уже распространенное и неоднократно “обкатанное” в известных моделях.

Благодаря устной истории мы пересматриваем окостеневшие макротеории. Кроме того, настоящая наука делается на целине, а не в изъезженной колее. Она не живет среди трусости, невежества и конформизма. Тот, кто работает с материалами устной истории, в особенности – если он (или она) феминистски ориентирован, если он в ладах с гендерной теорией, – уже бесстрашен, уже малозависим от оценок “свыше” и потому продуцирует более совершенное научное знание [Вайль, 2008; Воронина, 2004].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Алексиевич С. У войны – не женское лицо. М., 2008.
- Батыгин Г.С., Девятко И.Ф. Миф о “качественной социологии” // Социологический журнал. 1994. № 2.
- Бойм С. Общие места. М., 2002.
- Бэрг М.П. Устная история в США // Новая и новейшая история. 1976. № 6.
- Вайль П. Правда женского рода // Российская газета. 2008. 30 мая.
- Воронина М.А. Это должно быть призванием. Женская устная история // Гендерные исследования. Вып. 13. СПб., 2004.
- Зак Л.М. История фабрик и заводов // Советская историческая энциклопедия. Т. 6. М., 1965.
- Итс Р.Ф. Введение в этнографию. Л., 1991.
- Квале С. Исследовательское интервью. М., 2003.
- Козлова Н.Н. Опыт социологического чтения “человеческих документов”, или Размышления о значимости методологической рефлексии // СОЦИС. 2000. № 9.
- Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства XVIII–начала XIX в. СПб., 1994.
- Лотман Ю.М. Клию на распутье // Лотман Ю.М. Избр. статьи. В 3 т. Т. 1. Таллин, 1993.
- Никонова О.Ю. Женщины, война и “фигуры умолчания” // Неприкосновенный запас. 2005. № 2–3.
- Орлов И.Б. Устная история: генезис и перспективы развития // Отечественная история. 2006. № 2.

- Пассерини А. В чем специфика устной истории? // Женская устная история. Бишкек, 2004.
- Пушкарёва Н.Л. Гендерная теория и историческое знание. СПб., 2008.
- Пушкарёва Н.Л. Женщины Древней Руси. М., 1989.
- Рейнхарц Ш. Феминистская устная история // Воспоминания женщин: устные истории переходного периода. Теория и практика. Сб. статей. Бишкек, 2001.
- Темкина А. Динамика сценариев сексуальности в автобиографиях современных российских женщин: опыт конструктивистского исследования сексуального удовольствия // Гендерные тетради. Вып. 2. СПб., 1999.
- Триангуляция // Национальная социологическая энциклопедия (<http://voluntary.ru/dictionary/577/word/%D2%F0%E8%E0%ED%E3%F3%EB%FF%F6%E8%FF>).
- Урсу Д.П. Методологические проблемы устной истории // Источниковедение отечественной истории, 1989. М., 1989.
- Шмидт С.О. Предпосылки “устной истории” в историографической культуре России // Реализм исторического мышления. Проблемы отечественной истории периода феодализма: Чтения, посвященные памяти А.Л. Станиславского. Тез. докл. и сообщ. Москва, 27 января–1 февраля 1991 г. М., 1991.
- Щербаков В.П. Homo soveticus в сетях повседневности // Человек постсоветского пространства. Сб. статей. Вып. 3. СПб., 2005.
- Ярская-Смирнова Е.Р. Нарративный анализ в социологии // СОЦИС. 1997. № 3.
- Connell R. Gender and Power: Society, the Person and Sexual Politics. Stanford (Cal), 1987.
- Cosslett T., Lury C., Summerfield P. Feminism and Autobiography: Texts, Theories, Methods. London, 2000.
- Devault M.L. Talking and Listening from Women’s Standpoint: Feminist Strategies for Interviewing and Analysis // Social Problems. 1990. Vol. 37. № 1.
- Fürst J. Heroes, Lovers, Victims – Partisan Girls during the Great Fatherland War: an Analysis of Documents from the Spetsotdel of the Former Komsomol Archive // Minerva: Quarterly Report on Women and the Military. 2000. Vol. XVIII. № 3–4.
- Geertz C. The Interpretation of Cultures. New York, 1973.
- Hammersley M., Atkinson P. Ethnography: Principles in Practice. London, 1983.
- Labow W., Walecky J. Narrative Analysis. Oral Version of Personal Experience: Oral Versions of Personal Experience. Three Decades of Narrative Analysis // Special Volume of Narrative and Life History. 1997. Vol. 7. P. 3–32.
- Linde Ch. Life Stories. The Creation of Coherence. New York–Oxford, 1993.
- McIntosh M. Der Begriff “Gender” // Argument. Bd. 190. Berlin, 1991.
- Money J. Linguistic Resources and Psychodynamic Theory // British Journal of Medical Sexology. 1955. Vol. 20.
- Plummer K. Documents of Life: an Introduction to the Problems and Literature of a Humanistic Method. London, 1983.
- Stoller R. Sex and Gender: on the Development of Masculinity and Femininity. New York, 1968.
- Women’s Words. The Feminist Practice of Oral History. London, 1991.

© Н. Пушкарёва, 2012

Сдано в набор 17.10.2011	Подписано к печати 24.11.2011	Формат бумаги 70 × 100 ^{1/16}
Офсетная печать	Усл. печ.л. 14,3	Усл.кр.-отг. 7,4 тыс.
	Тираж 512 экз.	Зак. 1975
		Уч.-изд.л. 18,5
		Бум.л. 5,5

Учредители: Российская академия наук, Президиум РАН

Адрес редакции: Мароновский пер., д. 26, Москва, 119049
 Издатель: Российская академия наук. Издательство “Наука”, Профсоюзная ул., 90, Москва, 117997
 Оригинал-макет подготовлен АИЦ “Наука” РАН
 Отпечатано в ППП “Типография “Наука”»: Шубинский пер., д. 6, Москва, 121099